Рассказы

Автор:
Эдгар По

Рассказы

Эдгар Аллан По

Эдгар По (1809–1849) – неповторимое явление в истории американской словесности. Он является предтечей современной фантастической и детективной литературы, создателем блестящих загадочных новелл и стихотворений, запоминающихся благодаря таинственному пафосу и своеобразной мрачной красоте.

В состав данной книги вошло двадцать самых знаменитых мистических рассказов Эдгара По, интригующих и жутковатых благодаря своей атмосфере и неповторимой эмоциональной окраске. Также книга включает «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантукета» – одно из самых крупных по объему и спорных по содержанию символически-приключенческих произведений, вышедших из-под пера Э.По.

Перед читателем предстанут наиболее глубокие и необъяснимые закоулки человеческой души, очень странные путешествия, знакомства и удивительные встречи с потусторонним, возникающие на краю пограничной ситуации.

Эдгар Алан По

Рассказы

Молчание

Горные вершины дремлют; долины, скалы и пещеры молчат.

Алкман

Басня

– Слушай меня, – сказал Дьявол, положив руку мне на голову. – Страна, о которой я говорю, пустынная область в Ливии, вдоль берегов реки Заиры. И там нет ни покоя, ни молчания.

Воды реки шафранового нездорового цвета, и не текут в море, но вечно трепещут под огненным оком солнца в беспокойном и судорожном движении. На много миль по обе стороны илистого речного ложа раскинулась бледная пустыня гигантских водяных лилий. Они вздыхают в этой пустыне, вытягивая к небу свои длинные призрачные шеи и покачивая неумирающими главами. Неясный шепот слышится среди них, подобный ропоту подземных вод. И они обмениваются вздохами.

Но есть и граница их царству – дремучий, страшный, высокий лес. Там, как волны вокруг Гебридских островов, вечно колышатся низкие кусты. Но там нет ветра в небесах. И громадные первобытные деревья вечно раскачиваются с грозным скрипом и гулом. И с вершин их сочится капля за каплей вечная роса. И у корней их переплетаются в тревожном сне странные ядовитые цветы. И в высоте с шумом и свистом несутся на запад серые тучи, низвергаясь водопадом по огненному своду горизонта. Но там нет ветра в небесах. И на берегах реки Заиры нет ни покоя, ни молчания.

Была ночь, и шел дождь; и, падая, он оставался дождем, но, упав, становился кровью. И я стоял в трясине среди белых лилий, и дождь падал на мою голову, и лилии обменивались вздохами в безотрадном величии своего отчаяния.

И вдруг поднялась луна в тонком призрачном тумане, – и цвет ее был багровый. И взгляд мой упал на высокую серую скалу, стоявшую на берегу реки и озаренную лунным светом. И скала была серая, и прозрачная, и огромная – и скала была серая. На челе ее были вырезаны буквы, – и я прошел по трясине,

достиг берега реки, и остановился под скалою, чтобы прочесть надпись на камне. Но я не мог разобрать надписи. И я хотел вернуться в болото, но луна вспыхнула ярким багрянцем, и я обернулся, и снова взглянул на скалу и на надпись; – и надпись была: отчаяние.

И я взглянул вверх, и увидел человека на вершине скалы, и спрятался среди водяных лилий, чтобы наблюдать за ним. И был он высок и строен, и от шеи до пят закутан в тогу Древнего Рима. И черты лица его были неясны, – но были они чертами божественными, потому что покров ночи и тумана, и луны, и росы не мог скрыть черты лица его. И лоб его был высок и запечатлен мыслью, и глаза его полны тревоги; и в немногих морщинах на его лице прочел я повесть скорби, и усталости, и отвращения к человечеству, и жажды уединения.

И человек сидел на скале, опустив голову на руку, и смотрел на картину безотрадного. Он взглянул вниз на беспокойные кустарники, и вверх на громадные первобытные деревья, и еще выше на шумное небо и багровую луну. А я лежал под покровом лилий и следил за движениями человека. И человек дрожал в одиночестве, но ночь убывала, а он все сидел на скале.

И человек отвратил свой взор от неба и взглянул на мрачную реку Заиру, и на ее желтые зловещие воды, и на бледные легионы водяных лилий. И человек прислушивался ко вздохам водяных лилий и к их тихому ропоту. А я лежал в своем убежище и следил за действиями человека. И человек дрожал в одиночестве; но ночь убывала, а он все сидел на скале.

Тогда я ушел в глубину болот, и прошел сквозь чащу лилий, и созвал гиппопотамов, которые жили в трясинах, в глубине болот. И гиппопотамы услышали мой зов, и явились к подножию скалы, и громко и страшно ревели при лунном свете. А я лежал в своем убежище и следил за действиями человека. И человек дрожал в одиночестве; но ночь убывала, а он все сидел на скале.

Тогда я проклял стихии проклятием смятения; и страшная буря разразилась в небесах, где раньше не было ветра. И небеса почернели от бешенства бури, и дождь хлестал человека, и воды речные вышли из берегов, и река запенилась, возмущенная бурей, и водяные лилии стонали на своем ложе, и лес трещал под напором ветра, и гремел гром, и сверкала молния, и скала тряслась до самого основания. А я лежал в своем убежище и следил за действиями человека. И человек дрожал в одиночестве; но ночь убывала, а он все сидел на скале.

Тогда я пришел в бешенство и проклял реку, и лилии, и ветер, и лес, и небо, и гром, и вздохи водяных лилий, – проклял их проклятием: молчания. И стали они прокляты, и умолкли. И луна перестала пробираться по небу, и раскаты грома замерли, и молния угасла, и облака повисли недвижимо, и воды, вернувшись в свое ложе, остановились, и деревья не колыхались более, и лилии не вздыхали, и не слышно было их ропота, и ни тени звука не раздавалось в широкой, беспредельной пустыне. И я взглянул на надпись на скале, и она изменилась, и была эта надпись: молчание.

И взоры мои упали на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он быстро приподнял голову, и выпрямился на скале, и прислушался. Но ни единого звука не слышно было в беспредельной пустыне, и надпись на скале была молчание. И человек содрогнулся, и отвратил лицо свое, и убежал прочь так поспешно, что я никогда не видал его более.

* * *

Да, много прекрасных сказок в книгах, написанных Магами, в окованных железом печальных книгах, написанных Магами. Там, говорю я, есть чудные истории о Небе, и о Земле, и о могучем море, и о Гениях, правящих морем и землею и высоким небом. И много было мудрости в изречениях сивилл; и святые, святые тайны слышала древность в трепете листьев вокруг Додоны, но, клянусь Аллахом, сказку, рассказанную мне Дьяволом, когда он сидел со мною в тени гробницы, я считаю чудеснейшей из всех. И окончив свою сказку, Дьявол откинулся в углубление гробницы и засмеялся. И я не мог смеяться вместе с Дьяволом, и он проклял меня за то, что я не мог смеяться. И рысь, которая всегда живет в гробнице, вышла оттуда, и легла у ног Дьявола и смотрела ему в очи.

Рукопись, найденная в бутылке

Qui n'a plus qu'un moment a vivre,

N'a plus rieu a dissimuler.

Quinault – Atys.

Кому осталось жить мгновенье,

Тот ничего не утаит.

Филипп Кино «Атис»

О моей родине и семье не стоит говорить. Людская несправедливость и круговорот времени принудили меня расстаться с первой и прекратить сношения со второй. Наследственное состояние дало мне возможность получить исключительное образование, а созерцательный склад ума помог привести в порядок знания, приобретен– ныя прилежным изучением. Больше всего я увлекался произведениями германских философов; не потому, что восхищался их красноречивым безумием, – нет, мне доставляло большое удовольствие подмечать и разоблачать их слабые стороны, в чем помогала мне привычка к строгому критическому мышлению. Мой гений часто упрекали в сухости; недостаток воображения ставили мне в упрек; и я всегда славился пирроновским складом ума. Действительно, крайнее пристрастие к точным наукам заставляло меня впадать в ошибку, весьма обычную в этом возрасте: я подразумеваю склонность подводить под законы точных наук всевозможные явления, даже решительно неподводимые. Вообще, я, менее чем кто-либо, способен был променять строгие данные истины на ignesfatuos суеверия. Я говорю об этом потому, что рассказ мой покажется иному скорее грезой больного воображения, чем отчетом о действительном происшествии с человеком, для которого грезы воображения всегда были мертвой буквой или ничем.

Проведя несколько лет в путешествиях, я отправился в 18… году из порта Батавия, на богатом и многолюдном острове Яве, к Зундскому архипелагу. Я ехал в качестве пассажира, побуждаемый какою-то болезненной непоседливостью, которая давно уже преследовала меня.

Наш корабль был прекрасное судно в четыреста тонн, с медными скрепами, выстроенный в Бомбее из Малабарского тэкового дерева. Он вез груз хлопка и масла с Лакедивских островов, – сверх того, запас кокосового охлопья, кокосовых орехов и несколько ящиков опиума. Вследствие небрежной нагрузки, корабль был очень валок.

Мы тихонько ползли под ветром вдоль берегов Явы и в течение многих, многих дней ничто не нарушало однообразия путешествия, кроме мелких суденышек, попадавшихся навстречу. Однажды вечером, стоя у гакаборта я заметил на NW странное, одинокое облако. Оно бросилось мне в глаза своим странным цветом; к тому же оно было первое облако, замеченное нами после отплытия из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до солнечного заката, когда оно охватило значительную часть неба с запада на восток, в виде узкой гряды, напоминавшей низкий морской берег. Вскоре внимание мое было привлечено необычайно красным цветом луны. Море также изменилось и стало удивительно прозрачным. Я совершенно ясно различал дно, хотя лот показывал глубину в пятнадцать фатомов. Воздух был невыносимо душен и поднимался спиральными струями, как от раскаленного железа. С наступлением ночи ветер упал, и наступило глубокое, совершенное затишье. Пламя свечи, стоявшей на корме, даже не шевелилось, волосок, зажатый между большим и указательным пальцами, висел неподвижно. Как бы то ни было, капитан сказал, что не замечает никаких признаков опасности, и, так как течение относило нас к берегу, велел убрать паруса и бросить якорь. Он не счел нужным поставить вахтенных, и матросы, большею частью, малайцы, беспечно растянулись на палубе, а я спустился в каюту не без дурных предчувствий. Действительно, все предвещало шторм. Я сообщил о своих опасениях капитану, но он не обратил внимания на мои слова, даже не удостоил меня ответом. Беспокойство не позволило мне уснуть, и, около полуночи, я снова пошел на палубу, но не успел доставить ногу на верхнюю ступеньку лестницы, как раздался громкий, жужжащий гул, подобный шуму мельничного колеса, и корабль заходил ходенем. Еще мгновение – и чудовищный вал швырнул нас набок, окатив всю палубу, от кормы до носа.

Бешеная сила урагана спасла корабль от потопления. Он наполовину погрузился в воду, но, потеряв все мачты, которые снесло за борт, тяжело вынырнул, зашатался под напором ветра и, наконец, выпрямился.

Каким чудом я избежал гибели, решительно не понимаю. Я был совсем оглушен, а когда очнулся, оказался стиснутым между ахтер-штевнем и рулем. С трудом поднявшись на ноги, я дико огляделся, и в первую минуту мне показалось, что мы попали в сферу прибоя: так бешено крутились громадные валы. Немного погодя я услышал голос старого шведа, который сел на корабль в минуту отплытия из Батавии. Я отозвался, крикнув изо всех сил, и он кое-как пробрался ко мне. Вскоре мы убедились, что, кроме нас двоих, никто не пережил катастрофы. Всех находившихся на палубе смыло волной; капитан и его помощники, без сомнения, тоже погибли, так как каюты были затоплены. Вдвоем

мы не могли справиться с судном, тем более, что были обессилены ожиданием гибели. Канат, без сомнения, лопнул, как нитка, при первом натиске урагана, – иначе корабль разбился бы мгновенно. Мы неслись в море с ужасающей быстротою; волны то и дело заливали палубу. Кормовая часть сильно пострадала, да и все судно расшаталось, но, к великой нашей радости, помпы оказались неповрежденными. Ураган ослабел, утратив бешеную силу первого натиска, и мы не особенно опасались ветра, но с ужасом ожидали его полного прекращения, так как были уверены, что расшатавшееся судно не вынесет мертвой зыби. По-видимому, однако, этим опасениям не суждено было скоро оправдаться. Пять дней и пять ночей, в течение которых мы поддерживали свое существование несколькими горстями тростникового сахара, который нам с великим трудом удалось добыть на баке, пять дней и пять ночей судно неслось с невероятною быстротою, подгоняемое ветром, который, хотя и утратил свою первоначальную силу, но все-таки был сильнее всякого урагана, какой мне когда-либо случалось испытать. В первые четыре дня он дул почти все время на юг и юго-запад и, очевидно, гнал нас вдоль берегов Новой Голландии. На пятый день холод усилился до крайности, хотя ветер переменился. Солнце казалось тусклым медно-желтым пятном и поднялось над горизонтом всего на несколько градусов, почти не давая света. Облаков не было, но ветер дул с порывистым бешенством. Около полудня (по нашему приблизительному расчету) внимание наше снова привлечено было солнцем. Собственно говоря, оно вовсе не светило, а имело вид тусклой красноватой массы без всякого блеска, как будто все лучи его были поляризованы. Перед самым закатом его центральная часть разом исчезла, точно погашенная какой-то сверхъестественной силой. Только матовый серебряный обруч опустился в бездонный океан.

Мы тщетно дожидались наступления шестого дня, – он не наступил ни для меня, ни для шведа. Мы оставались в непроглядной тьме, так что не могли различить ничего за двадцать шагов от корабля. Вечная ночь окружала нас, не смягчаемая даже фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили также, что, хотя буря свирепствовала с неослабевающей яростью, волны уже не пенились и потеряли вид прибоя. Нас поглотила зловещая ночь, непроглядная тьма, удушливая, черная пустыня! Мало по малу суеверный ужас закрался в душу старика шведа, да и я погрузился в безмолвное уныние. Мы предоставили корабль на волю судьбы, сознавая, что наши усилия все равно ни к чему не приведут, и, приютившись у остатка бизань-мачты, угрюмо всматривались в океан. Мы не могли следить за временем или определить, где находимся. Очевидно, нас занесло далее к югу, чем удавалось проникнуть кому-либо из прежних мореплавателей. Мы удивлялись только, что не встречаем ледяной преграды. Между тем, каждая минута грозила нам гибелью,

исполинские валы поднимались со всех сторон. Я во всю мою жизнь не видал такого волнения. Истинное чудо, что мы уцелели до сих пор.

Спутник мой приписывал это незначительности груза и старался ободрить меня, напоминая о прочности нашего корабля, но я чувствовал полную невозможность какой– либо надежды и угрюмо готовился к смерти, ожидая ее с минуты на минуту, так как чем дальше подвигался корабль, тем яростнее бушевала зловещая черная пучина. То мы задыхались от недостатка воздуха, поднявшись выше птичьего полета, то с головокружительной быстротой слетали в водяную бездну, где воздух отзывался болотной сыростью, и ни единый звук не нарушал дремоты кракенов.

Мы находились на дне такой бездны, когда громкое восклицание моего товарища раздалось среди ночной темноты: – Смотри! Смотри! – крикнул он мне в ухо, – боже всемогущий! Смотри! Смотри! – Тут я заметил странный тусклый красноватый свет, озаривший чуть брезжущим блеском нашу палубу. Следя за ним глазами, я поднял голову и увидал зрелище, оледенившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на гребне колоссального вала, возвышался гигантский, тысячи в четыре тонн, корабль. Хотя высота волны раз во сто превосходила его высоту, он все-таки казался больше любого линейного корабля. Его громадный корпус был густого черного цвета, без всякой резьбы или украшений. В открытые люки высовывался ряд медных пушек, блестящие дула которых отражали свет бесчисленных фонарей, развешанных по снастям. Но всего более поразило нас ужасом и удивлением то обстоятельство, что он шел на всех парусах в этом водовороте бешеных валов под напором неукротимого вихря. В тот миг, когда мы заметили его, он медленно вздымался из мрачной зловейщей пропасти. С минуту он простоял на гребне, точно любуясь собственным великолепием, потом задрожал, пошатнулся и – рухнул вниз.

В эту минуту какое-то удивительное спокойствие овладело моей душой. Я отполз, как можно дальше, на корму и бесстрашно ожидал падения, которое должно было потопить нас. Наш корабль уже перестал бороться и погрузился носом в море. Низринувшаяся громада ударилась в эту часть, уже находившуюся под водой при чем корму, разумеется, вскинуло кверху, а меня швырнуло на снасти чужого корабля.

Вероятно, меня не заметили в суматохе. Я без труда пробрался к главному люку, который оказался не запертым, и спрятался в трюм. Почему я сделал это, – сам не знаю. Неизъяснимое чувство страха, при виде этих странных мореплавателей,

вероятно, было тому причиной. Я не решался довериться таким странным, сомнительным, необычайным людям.

Не успел я спрятаться, как послышались чьи-то шаги. Кто-то прошел мимо моего убежища неверной и слабой походкой. Я не мог разглядеть лица его, но общий вид его указывал на преклонный возраст или недуг. Колени его дрожали, и все тело сгорбилось под бременем лет. Он что-то бормотал себе под нос слабым прерывающимся голосом, на непонятном языке, копаясь в углу, в груде каких-то странных инструментов и старых морских карт. Движении его представляли удивительную смесь раздражительности второго детства и величавого достоинства.

Наконец, он ушел на палубу, и я не видал его более.

* * *

Чувство, которому нет названия, овладело моей душой, – ощущение, которое не поддается исследованию, не находит подобия в опыте прошлых лет и едва ли найдет разгадку в будущем. Это последнее особенно неприятно человеку с моим складом ума. Я никогда – сам знаю, что никогда – не найду удовлетворительного объяснения моим теперешним мыслям. Но удивительно ли, что мысли эти не поддаются определению, раз они возникли из таких новых источников. Новое чувство, новая составная часть прибавилась к моей душе.

* * *

Много времени прошло с тех пор, как я вступил на палубу этого корабля, и лучи моей судьбы, кажется, сосредоточились в одном фокусе. Непонятные люди! Погруженные в размышления, сущность которых я не могу угадать, они не замечают моего присутствия. Прятаться мне нет смысла, потому что они не хотят меня видеть. Сейчас я прошел мимо помощника, а незадолго перед тем явился в каюту капитана и взял там письменные принадлежности, чтобы составить эти записки. Время от времени я буду продолжать их. Неизвестно, конечно, удастся ли мне передать их миру, но я, по крайней мере, сделаю попытку. В последнюю минуту я положу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

* * *

Еще происшествие, доставившее мне новую пищу для размышлений. Неужели такие явления дело слепой судьбы? Я вышел на палубу и, не привлекая ничьего внимания, бросился на груду старых парусов. Размышляя о своей необычайной судьбе, я машинально водил дегтярной кистью по краям тщательно сложенного лиселя, лежавшего подле меня на боченке. Лисель упал на палубу, развернулся и я увидел, что из моих случайных мазков составилось слово открытие.

Я познакомился с устройством корабля. Это хорошо вооруженное, но, по-видимому, не военное судно. Его оснастка, корпус, вся экипировка говорят против этого предположения. Вообще, я вижу ясно, чем он не может быть, но что он есть, невозможно понять. Не знаю почему, но при виде его странной формы, необычайной оснастки, огромных размеров и богатого запаса парусов, простого, без всяких украшений, носа и устарелой конструкции кормы, мне мерещится что-то знакомое, что-то напоминающее о старинных летописях и давно минувших веках.

* * *

Рассматривал бревна корабля. Он выстроен из незнакомого мне материала. Дерево особенное, на первый взгляд совсем не годное для постройки судна. Меня поражает его пористость – независимо от ветхости и червоточины, обычной в этих морях. Быть может, слова мои покажутся слишком странными, но это дерево напоминает испанский дуб, растянутый какими-то сверхъестественными средствами.

Перечитывая эти строки, я припомнил замечание одного старого опытного голландского моряка.

– Это верно, – говаривал он, когда кто-нибудь выражал сомнение в его правдивости, – так же верно, как то, что есть море, где корабль растет, точно человеческое тело.

* * *

Час тому назад я смешался с толпой матросов. Они не обратили на меня ни малейшего внимания и, по-видимому, вовсе не замечали моего присутствия, хотя я стоял посреди толпы. Как и тот человек, которого я увидел в первый раз, все они обнаруживали признаки глубокой старости. Колени их тряслись, плечи сгорбились, кожа висела складками, разбитые старческие голоса шамкали чуть слышно, глаза слезились, седые волосы развевались по ветру. Вокруг них, по всей палубе были разбросаны математические приборы самой странной, устарелой конструкции.

* * *

Упомянув выше о лиселе, я заметил, что он был свернут. С тех пор корабль продолжает свой страшный бег к югу, при кормовом ветре, распустив все паруса от клотов до унтер-лиселей, среди адского волнения, какое не снилось ни единому смертному. Я спустился в каюту, так как не мог стоять на палубе, хотя экипаж судна, по– видимому, не испытывает никаких затруднений. Мне кажется чудом из чудес, что наш громадный корабль не был поглощен волнами. Видно нам суждено было оставаться на пороге вечности, но не переступать за него. Среди чудовищных волн, в тысячу раз превосходивших самое страшное волнение, какое мне когда-либо случалось видеть, мы скользили, как чайка, и грозные валы вздымались, точно демоны, из пучины вод, угрожая разрушением, но не смея исполнить угрозу. В объяснение этого я могу указать лишь одну естественную причину. Надо полагать, что корабль наш двигался под влиянием какого-нибудь сильного течения.

* * *

Я видел капитана лицом к лицу, в его собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Случайный наблюдатель не заметил бы в нем ничего особенного, чуждого природе человеческой, тем не менее я смотрел на него со смешанным чувством удивления, почтения и страха. Он приблизительно одного со мною роста, то есть, около пяти футов и восьми дюймов. Сложен хорошо, стройно, не слишком дюж, не слишком хил. Но странное выражение лица – поразительная, резкая, бьющая в глаза печать страшной, глубокой старости – возбуждает во мне чувство неизъяснимое… Лоб его не слишком изборожден морщинами, но, кажется, будто над ним отяготели мириады лет. Седые волосы его – летопись прошлого, серые глаза – сивиллины книги будущего. Каюта завалена странными фолиантами с железными

застежками, попорченными инструментами, старинными, давно забытыми картами. Он сидел, подперев голову руками, и с беспокойством перечитывал какую-то бумагу, по-видимому, официальную: я заметил на ней королевскую печать. Он что-то ворчал себе под нос, как первый моряк, которого я видел, что-то неразборчивое, брюзгливое, на незнакомом мне языке; и, хотя я сидел с ним бок-о-бок, голос его слышался мне точно издали.

* * *

Корабль и все, что на нем находится, запечатлены печатью старости. Люди бродят по палубе, как тени минувших веков; в глазах их отражается нетерпение и тревога, и, когда они попадаются мне навстречу, озаренные фантастическим светом фонарей, мной овладевает чувство, которого я никогда не испытывал, хотя всю жизнь занимался древностями, хотя блуждал в тени развалин Баальбека, Тадмора, Персеполя, пока душа моя сама не превратилась в развалину.

* * *

Глядя вокруг себя, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от страха, когда ураган сорвал нас с якоря, то что же должен бы был чувствовать теперь, среди этого адского разгула волн и ветра, о котором не дадут никакого понятия слова «смерч» и «торнадо». Вокруг нас непроглядная черная ночь, хаос темных, без пены, валов, и только на расстоянии мили по обе стороны корабля неясно обрисовываются в зловещей тьме громады льдов, – точно стены вселенной.

* * *

Как и я думал, корабль увлечен течением, если только можно применить это название к потоку, который мчится с ревом и воем, сокрушая встречные льды, по направлению к югу, с быстротой водопада головокружительной.

* * *

Невозможно передать мой ужас, – однако, стремление проникнуть тайны этих зловещих стран вытесняет даже отчаяние и примиряет меня с самой ужасной смертью. Очевидно, мы лицом к лицу с великим открытием, с тайной, разоблачение которой будет гибелью. Быть может, этот поток влечет нас к южному полюсу. Надо сознаться, что в пользу этого предположения, при всей его кажущейся нелепости, говорит многое.

* * *

Экипаж беспокойно расхаживает по палубе, но я читаю на лицах скорее надежду, чем равнодушие и отчаяние.

Ветер, как и прежде, в корму, и так как все паруса распущены, то по временам корабль буквально взлетает над водою! О, ужас из ужасов! лед расступается направо и налево, мы бешено мчимся громадными концентрическими кругами вдоль окраины чудовищного амфитеатра, стены которого теряются во тьме. Круги быстро сужаются – мы захвачены водоворотом – и, среди рева, свиста, визга океана и бури, корабль сотрясается и – о, боже! – идет ко дну!

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке», напечатана в 1831 г., и только много лет спустя я познакомился с картами Меркатор, на которых океан впадает четырьмя потоками в полярную (северную) пучину, где исчезает в недрах земли. Самый полюс изображен в виде черной скалы, поднимающейся на громадную высоту.

Свидание

«Подожди меня там! Я встречусь с тобой в этой мрачной долине».

(Эпитафия на смерть жены Генри Кинга, епископа Чичестерского).

Злополучный и загадочный человек! ослепленный блеском собственного воображения и сгоревший в огне своей страстной юности! Снова твой образ

встает в мечтах моих! снова я вижу тебя – не таким, – о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, а каким ты бы должен был быть, коротая жизнь в роскошных грезах в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции, – счастливом Элизиуме моря, – чьи дворцы с глубокой и скорбной думой смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да! повторяю, – каким ты бы должен был быть. Конечно, есть иные миры, кроме нашего, – иные мысли, кроме мыслей толпы, – иные доводы, кроме доводов софиста. Кто же решится призвать тебя к ответу? кто осудит часы твоих грез и назовет бесплодной тратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неукротимой воли?

Это было в Венеции, под аркой Ponte dei Sospiri, – я в третий или четвертый раз встретил здесь того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но помню я, – ах! могу ли забыть? – глубокую полночь, мост Вздохов, красоту женщины, и Гений Романа, носившийся над узким каналом.

Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на Пиацце пробили пять часов итальянского вечера. Сад Кампанильи опустел и затих, почти все огни в старом Дворце Дожей погасли. Я возвращался домой с Пиацетты но Большому каналу. Но когда моя гондола поравнялась с устьем канала св. Марка, – дикий, истерический, протяжный женский вопль внезапно раздался среди ночной тишины. Пораженный этим криком, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло, и так как найти его было невозможно в этой непроглядной тьме, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте направляется из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному коршуну мы тихонько скользили к мосту Вздохов, когда тысяча огней, загоревшихся в окнах и на лестницах Дворца Дожей, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый неестественный день.

Ребенок, выскользнув из рук матери, упал из верхнего окна высокого здания в глубокий и мутный канал. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и, хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверхности канала сокровище, которое – увы! – можно было найти только в пучине вод. На черных мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, не мог бы забыть. То была маркиза Афродита – кумир Венеции, – воплощенное веселье, – красавица красавиц, – молодая жена старого интригана Ментони и мать прекрасного ребенка, первого и единственного, который теперь в глубине мрачных вод с тоской вспоминал о ласках матери и тщетно пытался произнести

ее имя.

Она стояла одна. Маленькие, босые, серебристые ножки ее блестели на черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, обвивали ее классическую головку, как завитки молодых гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой, прозрачной ткани, по-видимому, составляло ее единственную одежду; но знойный, тяжелый, летний воздух был спокоен, и ни единое движение тела, подобного статуе, не шевелило складок этого легкого, как пар, платья, падавших вокруг нее, как тяжелые мраморные одежды вокруг Ниобы. И – странное дело! – огромные, сияющие глаза ее не были обращены вниз, к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду, – они устремились в совершенно другом направлении. Я думаю, что тюрьма Старой Республики, – величественнейшее здание Венеции; но как могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задыхалось внизу, под ногами ее. Та темная мрачная ниша против окон комнаты – что могло быть в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плюшем тяжелых карнизах, – чего маркиза ди Ментони не видала уже тысячи раз? Нелепость! – Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражения скорби своей и видят в бесчисленных отдаленных пунктах горе, которое здесь, под рукой.

На много ступеней выше маркизы, под аркой водопровода, виднелась сатироподобная фигура самого Ментони. Он бренчал на гитаре, когда случилось это происшествие, и казался до смерти ennuye [Раздосадован (фр.).], указывая в промежутках игры, где искать ребенка. Ошеломленный, испуганный, я не мог пошевелиться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, бледный и неподвижный, плыл на нее в своей траурной гондоле.

Все усилия оставались тщетными. Уже большинство самых сильных пловцов прекратили поиски, покоряясь угрюмому року. Казалось, уже мало надежды остается для ребенка (во сколько же меньше для матери!), как вдруг из темной ниши, о которой я упоминал, выступила в полосу света фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю высокого спуска и ринулась в канал. Минуту спустя он стоял на мраморных плитах перед маркизой с ребенком, – еще живым и не потерявшим сознания, – на руках. Промокший плащ свалился к ногам его и обнаружил перед взорами изумленных зрителей изящную фигуру юноши, чье имя гремело тогда в Европе.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обовьет его милое тело и покроет его бесчисленными поцелуями.

Увы! другие руки приняли ребенка, – другие руки подняли и унесли, незамеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожали: слезы стояли в глазах ее, глазах, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа: – «нежные и почти жидкие». Да! слезы стояли в ее глазах и вот – женщина очнулась, и статуя ожила. Бледное мраморное лицо, выпуклость мраморной груди, даже чистый мрамор ног залились волной румянца неудержимого; и легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как тихий ветерок Неаполя пышную серебристую лилию в траве.

Почему бы могла она покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца она забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи. Какой еще причиной возможно об'яснить этот румянец? – блеск этих испуганных глаз? – необычайное волнение трепещущей груди? – судорожное стискивание дрожащей руки? – руки, которая случайно опустилась на руки незнакомца, когда Ментони ушел во дворец? Какой же другой причиной можно об'яснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощанье? – «Ты победил, – сказала она (если только не обманул меня ропот вод), – ты победил, – через час после восхода солнца мы встретимся!»

* * *

Смятение прекратилось, огни во дворце угасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неиз'яснимого волнения, глаза его искали гондолу. Я предложил ему свою, он вежливо принял предложение. Доставши весло у шлюза, мы отправились к его квартире. Он быстро овладел собою и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в очень сердечных выражениях.

Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. К числу их принадлежит личность незнакомца, – буду называть его этим именем. Росту он был скорее ниже, чем выше среднего, хотя в минуты страстного волнения тело его как будто выростало и не подходило под мое определение. Легкий, почти хрупкий облик его обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у моста Вздохов, чем геркулесовскую силу, образчики которой, однако, он, как известно было, не раз проявлял без всякого усилия в более опасных случаях. Божественный рот и подбородок, удивительные, дикие, большие, влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого карего до блестящего черного цвета,

густые вьющиеся черные волосы, из-под которых сверкал ослепительно белый лоб необычайной ширины, – такова его наружность. Такого классически правильного лица я не видывал, – разве только на изваяниях императора Коммода. Тем не менее наружность его была из тех, какие каждому случалось встречать хоть раз в жизни и затем уже не видеть более. Она не отличалась каким-либо особенным, преобладающим, бьющим в глаза выражением, которое врезается в память; увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но, и забыв, не могли отделаться от смутного неотвязного желания восстановить его в своей памяти. Нельзя сказать, чтобы игра страстей не отражалась в каждую данную минуту в зеркале этого лица; но, подобно зеркалу, оно не сохраняло никаких следов исчезнувшей страсти.

Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня, по– видимому, очень настойчиво, зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо, – одним из тех угрюмых, но сказочных и пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала по соседству с Риальто. Меня провели по широкой, витой, мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой ослепила и ошеломила меня.

Я знал, что мой знакомый богат. О его состоянии ходили слухи, которые я считал смешным преувеличением. Но, глядя на его палаццо, я не мог поверить, чтобы у кого-либо из подданных в Европе нашлось достаточно средств на царское великолепие, которое сияло и блистало кругом.

Хотя солнце уже взошло, но комната была ярко освещена. По этому обстоятельству, равно как и по утомленному виду моего друга, я заключил, что в эту ночь он не ложился. В архитектуре и обстановке комнаты заметно было стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился о вкусе в художественном смысле слова, ни о сохранении национального стиля. Взоры переходили с предмета на предмет, не задерживаясь ни на чем – ни на grotesques греческих живописцев, Ни на скульптурах лучших итальянских времен, ни на тяжелых изваяниях запустевшего Египта. Роскошные завесы слегка дрожали от звуков тихой невидимой музыки. Голова кружилась от смеси разнообразных благоуханий, поднимавшихся из странных витых курильниц, вместе с мерцающими трепетными языками изумрудного и лилового пламени. Лучи восходящего солнца озаряли эту сцену сквозь окна, состоявшие из цельных малиновых стекол. Отражаясь бесчисленными струями от завес, падавших с высоты карнизов, точно потоки расплавленного серебра, волны естественного

света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный, золотистый ковер.

– Ха! ха! ха!.. Ха! ха! ха! – засмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на оттоманку. – Я вижу, – прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом, – я вижу, что вас поражает мое помещение… мои статуи… мои картины… моя прихотливость в архитектуре и обстановке!.. вас опьяняет роскошь моя. Но простите, дорогой мой (тут он заговорил самым сердечным голосом), простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так непомерно. Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек должен смеяться или умереть. Умереть, смеясь – вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор… прекрасный человек был сэр Томас Мор… сэр Томас Мор, если помните, умер, смеясь. И в Absurdities Равизиуса Текстора приведен длинный список лиц, кончивших такой же славной смертью. Знаете, – продолжал он задумчиво, – в Спарте (нынешняя Палеохори), в Спарте, на запад от цитадели, в груде едва видных развалин, есть камень в роде подножия, на котором до сих пор можно разобрать буквы Л А З М. Без сомнения, это остаток слова ГЕЛАЗМА. Теперь известно, что в Спарте были тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств! Как странно, что храм Смеха пережил все остальные! Однако, в настоящую минуту, – при этих словах движение и голос его странно изменились, – я не имею права забавляться на ваш счет. Европа не в силах произвести что-либо прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы – те просто верх модного бесвкусия. Это получше моды, – не правда ли? Но стоит показать эту обстановку, чтобы она произвела фурор – то-есть среди тех, кто может устроить такую же ценой всего своего состояния. За единственным исключением, вы единственный человек, кроме меня и моего valet, посвященный в тайны этого царского чертога, с тех самых пор, как он устроен.

Я поклонился в знак признательности, так как по– давляющеее впечатление великолепия, благоуханий, музыки и неожиданная странность приема и манер хозяина помешали мне выразить мое мнение в виде какой-нибудь любезности.

– Вот, – продолжал он, вставая, опираясь на мою руку и обводя меня вокруг комнаты, – вот картины от Греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них выбраны без справок с мнениями эстетики. Вот несколько chefs d'oeuvres неведомых талантов, вот неоконченные рисунки людей, прославленных в свое время, чьи имена проницательность академиков предоставила безвестности и мне. Что вы скажете, – прибавил он, внезапно

обернувшись ко мне, – что вы скажете об этой Мадонне?

– Это настоящий Гвидо, – отвечал я со свойственным мне энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудную картину. – Настоящий Гвидо! – как могли вы достать ее? Бесспорно, она то же в живописи, что Венера в скульптуре.

– А! – сказал он задумчиво, – Венера, прекрасная Венера? Венера Медицейская? – она, – в уменьшенном виде и с золотистыми волосами. Часть левой руки (здесь голос его понизился до того, что стал едва внятным), и вся правая реставрированы, и в кокетливом движении правой руки – квинтессенция жеманства. Аполлон тоже копия, – в этом не может быть сомнения, – я, слепой глупец, не могу оценить хваленого вдохновения Аполлона. Я предпочитаю – что делать? – предпочитаю Антиноя. Кто это – Сократ, кажется, – заметил, что скульптор находит свое изваяние в глыбе мрамора. В таком случае Микель Анджело только повторил чужие слова, сказав:

«Non ha l'ottimo artista aloun concetto

Che un marmo solo in se non circonscriva».

«Нет у лучшего художника такого замысла,

Которого бы не скрывал в себе сам мрамор».

Замечено или следует заметить, что манеры истинного джентльмена всегда отличаются от манер вульгарных людей, хотя не сразу можно определить, в чем заключается различие. Находя, что это замечание вполне прилагается к внешности моего незнакомца, я почувствовал в это достопамятное утро, что замечание еще более подходит к его моральному темпераменту и характеру. Я не могу определить духовную черту, так резко отличавшую его от прочих людей, иначе, как назвав ее привычкой к упорному и сосредоточенному мышлению, сопровождавшему далее его обыденные действия, вторгавшемуся в шутки его и переплетавшемуся с порывами веселья – как те змеи, что расползаются из глаз смеющихся масок на карнизах Персеполиса.

Я не мог не заметить, однако, в быстром разговоре его, то шутливом, то торжественном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения в речах и поступках, беспокойного возбуждения, которое осталось для меня совершенно непонятным и по временам тревожило меня. Нередко остановившись в середине

фразы и, очевидно, позабыв ее начало, – он прислушивался с глубоким вниманием, точно ожидал какого-нибудь посетителя, или внимал звукам, раздававшимся только в его воображении.

В одну из таких минут рассеянности или задумчивости я развернул прекрасную трагедию поэта и ученого Полициана «Orfeo» (первая национальная итальянская трагедия), лежавшую подле меня на оттоманке и попал на место, подчеркнутое карандашом. Это было заключение третьего акта, заключение, хватающее за душу, которого ни один мужчина не прочтет без волнения, ни одна женщина без вздоха. Вся страница была испятнана слезами, а на противоположном чистом листке я прочел следующие английские стихи, написанные почерком, до того непохожим на своеобразный почерк моего знакомого, что я с трудом мог признать его руку:

«Ты была для меня всем, моя любовь, о чем томилась душа моя. Зеленый остров в море, любовь моя, источник и алтарь, обвитый чудесными цветами и плодами, – и все цветы были мои.

«О, мечта слишком яркая. О, ослепляющая надежда, восставшая на мгновение, чтобы исчезнуть. Голос будущего зовет: «Вперед!» но к прошлому (мрачная бездна) прикован дух мой – неподвижный, безгласный, подавленный ужасом!

«Увы! для меня угас свет жизни. Никогда… никогда… никогда… (говорит величавое море прибрежным пескам) не расцветет пораженное молнией дерево, не воспарит раненый на смерть орел.

«Теперь дни мои превратились в бред, а мои ночные грезы – там, где сверкают черные глаза твои, где ступают ножки твои, в воздушных плясках под небом Италии! Увы! будь проклят день, когда ты ушла от любви к сановной старости и преступлению на недостойное ложе, – ушла от меня, из нашей туманной земли, где роняют слезы серебристые ивы».

Что стихи были написаны по-английски – я не знал, что автор знаком с этим языком – меня ничуть не удивило. Он был известен своими обширными познаниями, которые всячески старался скрыть, так что удивляться было нечему; но меня поразила дата, отмеченная на листке. Стихи были написаны в Лондоне, потом дата выскоблена, – однако, не так чисто, чтобы нельзя было разобрать, Я говорю, что обстоятельство это поразило меня, потому что я

помнил ясно один наш прежний разговор. Именно на мой вопрос: – встречался ли он в Лондоне с маркизой Ментони (она провела в этом городе несколько лет до замужества), мой друг ответил, что ему никогда не случалось бывать в столице Великобритании. Замечу кстати, что я не раз слышал (хотя и не придавал веры такому невероятному утверждению), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по воспитанию англичанин.

– Тут есть одна картина, – сказал он, не заметив, что я развернул трагедию, – тут есть одна картина, которой вы еще не видали. – С этими словами он отдернул занавес и я увидел портрет во весь рост маркизы Афродиты.

Человеческое искусство не могло бы с большим совершенством передать эту нечеловеческую красоту. Я увидел тот же воздушный образ, что стоял передо мною в прошлую ночь на ступенях дворца Дожей. Но в выражении лица озаренного смехом, сквозила (непонятная странность!) чуть заметная скорбь, неразлучная с совершенством прелести. Правая рука лежала на груди, левая указывала вниз на какую-то необычайной формы урну. Маленькая прекрасная нога чуть касалась земли, а в искрящейся атмосфере, оттенявшей ее красоту, светилась едва заметная пара крыльев. Я взглянул на моего друга, и выразительные слова Чепмана в Bussy d'Ambois задрожали на моих губах:

«Вот он стоит подобно римской статуе! И будет стоять, пока смерть не превратить его в мрамор!»

– Вот что, – сказал он, наконец, обернувшись к столу из массивного серебра, украшенного финифтью, на котором стояли фантастические чарки и две большие этрусские вазы, такой же странной формы, как изображенная на картине, и наполненные, как мне показалось, иоганнисбергером. – Вот что, – сказал он отрывисто, – давайте-ка, выпьем. Еще рано, но что за нужда – выпьем. Действительно, еще рано, – продолжал он задумчивым голосом, когда херувим с тяжелым золотым молотом прозвонил час после восхода солнца, – действительно, еще рано, но что за беда, выпьем! Совершим возлияние солнцу, которое эти пышные лампады и светильники так ревностно стараются затмить! – И, чокаясь со мною, он выпил один за другим несколько бокалов.

– Грезить, – продолжал он, возвращаясь к своей обычной манере разговаривать, – грезить всегда было моим единственным занятием. Вот я и устроил для себя царство грез. Мог ли я устроить лучшее в сердце Венеции? Вы видите вокруг себя сбор всевозможных архитектурных украшений. Чистота

ионийского стиля оскорбляется допотопными фигурами, и египетские сфинксы лежат на золотых коврах. Но эффект слишком тяжел лишь для робкого духом. Особенности места, а тем более времени, – пугала, которые отвращают человечество от созерцания великолепного. Для меня же нет убранства лучшего. Как пламя этих причудливых курильниц, душа моя трепещет в огне, и безумие убранства подготовляет меня к диким видениям в стране настоящих грез, куда в отхожу теперь. – Он остановился, опустил голову на грудь и, по-видимому, прислушивался к неслышному для меня звуку. Потом выпрямился, взглянул вверх и произнес слова епископа Чичестерского:

«Подожди меня там! Я встречусь с тобой в этой мрачной долине!»

Затем, побежденный силой вина, упал на оттоманку.

Быстрые шаги послышались на лестнице и кто-то сильно постучал в дверь. Я поспешил предупредить тревогу, когда паж Ментони ворвался в комнату и произнес, задыхаясь от волнения: – Госпожа моя! – Госпожа моя! – Отравилась! – Отравилась! – О, прекрасная, – о, прекрасная Афродита!

Пораженный я кинулся к оттоманке, чтобы разбудить спящего. Но члены его оцепенели, губы посинели, огонь лучезарных глаз был потушен смертью. Я отшатнулся к столу, – рука моя упала на треснувший и почерневший кубок, – и ужасная истина разом уяснилась моему сознанию.

Берениса

Бывают различные несчастия. Земное горе разнородно; господствуя над обширным горизонтом, как радуга, цвета человеческого страдания так же различны и точно так же слиты, и оно точно так же царит над обширным горизонтом жизни.

Я могу рассказать ужасную историю и охотно умолчал бы о ней, если бы это была хроника чувств, а не фактов.

Мое имя Эгеус, фамилию же свою я не скажу. Нет в стране замка более славного, более древнего, как мое унылое, старинное, наследственное жилище. С давних времен род наш считался ясновидящим, и, действительно, из многих поразительных мелочей, из характера постройки нашего замка, из фресок нашей гостиной, из обоев спальни, из лепной работы пилястров оружейной залы, но преимущественно из галереи старинных картин, из внешнего вида библиотеки и, наконец, из характера книг этой библиотеки можно было вывести заключение, подтверждающее это мнение.

Воспоминания первых лет моей жизни связаны с библиотечной залой и ее книгами. Там умерла моя мать; там родился я. Но странно было бы сказать, что я не жил прежде, что у души нет предыдущего существования… Вы отвергаете? не станем об этом спорить. Я же убежден и потому не стану убеждать вас. В человеческой душе живет какое-то воспоминание о призрачных формах, о воображаемых глазах, о мелодических, но грустных звуках, воспоминание, не покидающее нас, – воспоминание, похожее на тень, смутное, изменчивое, неопределенное, трепещущее; и от этой тени мне трудно будет отделаться, пока будет светить хоть один луч моего разума.

В этой комнате я родился, в этой комнате я провел среди книг мое детство и потратил юность в мечтах. Жизненная действительность поражала меня, как видения и только как видения, тогда как безумные мысли мира фантазий составляли не только пищу для моего повседневного существования, по положительно и исключительно мою действительную жизнь.

Берениса была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в отцовском замке. Но мы росли совершенно различным образом: я – болезненным и вечно преданным меланхолии; она – живой, грациозной и полной энергии; ее дело было бегать по холмам, мое – учиться взаперти. Я жил сам в себе душой, предаваясь самым упорным и трудным размышлениям, она же беззаботно встречала жизнь, не заботясь о тени на своем пути или о молчаливом полете времени с его черными крыльями. Берениса! При ее имени черные тени восстают в моей памяти. Образ ее стоит, как живой, передо мною, – такою, какою она была в первые дни своего счастья и веселья. Как была она фантастично хороша! А потом, потом наступил полный ужас и мрак, и свершилось нечто неподдающееся рассказу. Болезнь, страшная болезнь набросилась на нее и на глазах моих изменила ее так, что трудно было узнать ее. Увы, болезнь отходила и снова подходила, но прежняя Берениса уже не возвращалась! Настоящую

Беренису я не знал или, по крайней мере, не признавал ее за Беренису.

Главные страдания кузины моей заключались в эпилепсии, которая часто кончалась летаргией, похожей на смерть, от которой она просыпалась совершенно внезапно. Между тем и моя болезнь, – мне сказали, что это ничто иное, как болезнь, – быстро развивалась, усиливаясь от неумеренного употребления опиума, и, наконец, приняла характер какой-то странной мономании. С часу на час, с минуты на минуту, болезнь действовала энергичнее, и, наконец, совершенно подчинила меня своей власти. Эта мономания заключалась в страшной раздражительности умственных способностей, которую можно определить раздражительностью способностей внимания. Очень может быть, что вы меня не понимаете, и я боюсь, что не буду в состоянии дать вам точного понятия той нервной напряженности, с какой мысль углубляется в созерцание самых обыденных в мире вещей.

Моим постоянным занятием бывало: думать без устали, по целым часам, над какой-нибудь беглой заметкой на полях книги или над фразой в книге; задумчиво смотреть в продолжение целого долгого летнего дня на причудливые тени, стелящиеся по стенам; забываться по целым ночам, наблюдая прямое пламя лампы или пламя углей в камине; мечтать по целым дням над запахом цветка; монотонно повторять какие-нибудь обыкновенные слова до тех пор, пока звук от повторения перестанет занимать мысли; в полном, упорно сохраняемом покое забывать всякое чувство движения и физического существования.

Мысли мои в такие минуты никогда не переходили на другие предметы, а упорно вертелись около своего центра. Человеку невнимательному покажется очень естественным, что страшная перемена в нравственном существовании Беренисы, вследствие ее страшной болезни, должна бы была послужить предметом моей задумчивости. Но ни чуть не бывало. В светлые минуты несчастие ее, правда, меня огорчало, я думал с грустью о страшной перемене, происшедшей в ней. Но эти мысли не имели ничего общего с моей наследственной болезнью. Болезнь моя питалась не такой переменой, а переменой физической, страшно изменявшей Беренису.

Во дни ее поразительной красоты, можно сказать наверное, я не любил ее. Чувства мои никогда не шли из сердца, а всегда из головы. Берениса являлась мне не настоящей Беренисой, а Беренисой моих мечтаний, не земным, а абстрактным существом. Теперь же я дрожал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; горюя о ее гибели, я все-таки помнил, что она давно любила меня,

и когда-то в грустную минуту заговорил с нею о браке.

День, назначенный для нашей свадьбы, приближался. Однажды после обеда я сидел в библиотеке; я думал, что в комнате нет никого, кроме меня, но, подняв глаза, увидал стоявшую передо мною Беренису.

Она казалась мне какой-то призрачной и высокой. Я молча откинулся на спинку кресла; она стояла тоже молча. Худоба ее была ужасна; в ней не осталось ничего от прежней Беренисы. Наконец, взор мой упал на ее лицо.

Когда-то черные волосы теперь стали светлыми, а мутные и поблекшие глаза казались без ресниц. Я взглянул на губы. Они раскрылись особенной улыбкой и взору моему представились зубы новой Беренисы. Лучше бы мне никогда не видеть их или, увидав, лучше бы умереть!

Скрип двери пробудил меня; подняв глаза, я увидел, что кузины в комнате нет. Но белый и страшный призрак ее зубов не покидал и не хотел покинуть комнаты. На поверхности их не было ни точки, ни эмали, ни пятнышка. Мимолетной улыбки достаточно было, чтобы они врезались мне в память. И потом я их видел так же ясно, как и прежде, видел даже яснее, чем прежде. Зубы эти являлись и тут, и там, и везде: длинные, узкие и необыкновенно-белые, с бледными губами, натянутыми вокруг так, как они никогда не бывали прежде. Затем наступил полный припадок моей мономании, и я тщетно боролся против ее непреодолимого и странного влияния. В бесконечном числе предметов внешнего мира, я только и думал, что о зубах. Я чувствовал к ним страстное желание. Все окружающее было поглощено мыслью о зубах. Они сделались для меня источником жизни. Я изучал их, и мне казалось, что зубы Беренисы – это идеи. И эта-то безумная мысль погубила меня. Вот потому-то я так страстно и стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими может возвратить мне рассудок.

Дни проходили один за другим, а я все сидел в своей комнате с призраком зубов. Но раз, во время моей задумчивости, раздался внезапно крик ужаса и, спустя немного, я услышал рыдания и вздохи. Я встал, отворил дверь и увидал горничную, которая сообщила мне, что Берениса умерла и что могила ее уже готова.

С сердцем, замирающим от страха и отвращения, я отправился в спальню покойницы. Комната была большая, мрачная; на каждом шагу я натыкался на приготовления к похоронам. «Гроб, – сказал мне слуга, – стоит за занавескою на кровати, и Берениса лежит в гробу».

Кто же спросил меня, хочу ли я видеть покойницу? Я не заметил, чтобы чьи-нибудь уста шевелились, а между тем вопрос был сделан, и отголосок последних слов еще раздавался в комнате. Отказаться было невозможно, и с чувством какой-то подавленности я направился к постели. Я тихо поднял темные занавеси, и когда опустил их, они упали мне на плечи и отделили меня от живого мира, и заперли меня с покойницей.

В комнате пахло смертью; особенный запах от гроба производил во мне дурноту, и мне казалось, что от тела отделяется уже запах разложения. Я бы отдал все на свете, чтобы бежать от этого страшного влияния смерти, чтобы еще раз дохнуть воздухом под чистым небом. Но у меня не было сил шевельнуться, колени тряслись, я точно прирос к полу и пристально смотрел на вытянутый в гробу труп.

Господи! может ли это быть? Неужели у меня помутилась голова? Или покойница действительно пошевелила пальцем под саваном? Дрожа от страха, я тихо поднял глаза, чтобы взглянуть на лицо покойницы. Носовой платок, которым была привязана челюсть, развязался. Бледные губы улыбались, и из-за них смотрели на меня белые, блестящие, ужасные зубы Беренисы. Я судорожно отскочил от постели и, не говоря ни слова, как безумный, бросился вон из этой страшной комнаты смерти.

Я очутился в библиотеке, и сидел в ней один. Мне казалось, что я пробудился от какого-то ужасного, смутного сна. Была полночь. Я распорядился, чтобы Беренису схоронили до заката солнца; но я не сохранил точного воспоминания о том, что делалось в это время. А между тем мне припоминалось что-то ужасное, что-то смутное, и потому более ужасное; оно походило на какую-то страшную страницу моего существования, написанную темными воспоминаниями, ужасными и неразборчивыми. Я старался разобрать их, но не мог. Между тем, по временам в ушах моих раздавался звук, похожий на пронзительный крик женщины. Точно я совершил что-то. Я громко спрашивал себя: «что такое?» и эхо комнаты отвечало мне: что такое?..

На столе подле меня горела лампа, а подле стоял ящичек из черного дерева. Ящик был очень обыкновенный, и я часто видел его: он принадлежал нашему годовому доктору. Но как он попал ко мне на стол? почему я дрожал при виде его?.. Взор мой упал, наконец, на страницы открытой книги и остановился на одной подчеркнутой фразе. Это были странные, но простые слова поэта Эбн-Залата: Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. – Отчего от этих слов волосы мои становятся дыбом, и кровь застывает в жилах?

В дверь библиотеки кто-то тихо постучал, и ко мне на цыпочках вошел слуга, бледный, как мертвец. Глаза его блуждали от ужаса, и он заговорил со мною тихим, дрожащим, глухим голосом. Что говорил он мне? Я понял только некоторые фразы. Кажется, он рассказывал, что ночью в замке слышали страшный крик, что вся прислуга собралась, и побежала на крики. Тут голос его стал ясен; он говорил о поругании могилы, об обезображенном трупе, вынутом из гроба, – трупе еще дышавшем, еще вздрагивавшем, еще живом!

Он взглянул на мою одежду; она была выпачкана грязью и кровью. Не говоря ни слова, он взял меня за руку; на ней оказались следы от ногтей человеческих. Он обратил мое внимание на предмет, приставленный к стене. Я посмотрел: то был заступ. Вскрикнув, бросился я к ящику из черного дерева. Но у меня недоставало силы открыть его; он, выскользнув у меня из рук, тяжело упал па пол и разбился в мелкие дребезги. Звеня, выскочили из него несколько инструментов для дерганья зубов, и вместе с ними рассыпались по всему полу тридцать два белых маленьких кусочка, похожих на кость.

Знаменитость

Я великий человек (точнее, был великим человеком), хотя я не автор писем Юниуса и не Железная Маска: мое имя, если не ошибаюсь, Роберт Джонс, а родился я где-то в городе Ври Больше.

Появившись на свет Божий, я первым делом схватил себя за нос обеими руками. Моя матушка, увидев это, объявила, что я гений; мой отец прослезился от радости и подарил мне курс носологии. Я изучил его прежде, чем надел штаны.

Я рано почувствовал призвание к науке и скоро сообразил, что если только у человека имеется достаточно солидный нос, го, следуя его указаниям, нетрудно достигнуть славы. Но я не ограничивался теорией. Каждое утро я давал себе два щелчка по носу и пропускал рюмок шесть горячительного.

Когда я вырос, мой отец пригласил меня однажды в свой кабинет.

– Сын мой, – сказал он, – какая цель твоего существования?

– Отец мой, – отвечал я, – изучение носологии.

– А что такое носология, Роберт? – спросил он.

– Сэр, – отвечал я, – это наука о носах.

– А можешь ты объяснить мне, – продолжал отец, – что такое нос?

– Нос, отец мой, – ответил я с увлечением, – весьма различно определяется различными авторами. (Тут я посмотрел на часы.) Теперь полдень или около того; до полуночи я успею изложить вам все мнения по этому вопросу. Начнем с Бартолина; по его определению, нос – это та выпуклость, тот желвак, тот нарост, тот…

– Будет, Роберт, – перебил добрый старик. – Я поражен твоими громадными знаниями, ей-Богу, поражен. (Тут он зажмурился и приложил руку к сердцу.) Поди ко мне! (Он взял меня за руку.) Твое воспитание можно считать законченным, пора тебе встать на ноги, и самое лучшее, если ты последуешь за своим носом – итак… (Отец спустил меня с лестницы и вытолкал за дверь.) – Итак, убирайся вон из моего дома и да благословит тебя Бог.

Чувствуя в себе божественное предопределение, я посчитал это происшествие скорее благоприятным, чем плачевным. Я намеревался исполнить отеческое наставление. Я решил последовать за своим носом. Я тут же дал ему два-три щелчка, а затем, написал памфлет о носологии.

Весь наш народ Ври Больше пришел в волнение.

– Изумительный гений! – сказал Quarterly.

– Превосходный физиолог! – сказал Westminster.

– Тонкий ум! – сказал Foreign.

– Прекрасный писатель! – сказал Edinburgh.

– Глубокий мыслитель! – сказал Dublin.

– Великий человек! – сказал Bentley.

– Божественный дух! – сказал Frazer.

– Из наших! – сказал Blackwood.

– Кто бы это мог быть? – сказала миссис Синий Чулок.

– Кто бы это мог быть? – сказала толстая мисс Синий Чулок.

– Кто бы это мог быть? – сказала тоненькая мисс Синий Чулок.

Но я знать не хотел этих господ, – я прямо направился в мастерскую художника.

Герцогиня Ах-Боже-Мой позировала, маркиз Так-И-Так держал ее пуделя, граф И-То-И-Се подносил ей флакончик с солью, а его королевское высочество Не-Тронь-Меня прислонился к спинке ее стула.

Я подошел к художнику и вздернул нос.

– О, какая прелесть! – вздохнула ее светлость.

– О, Господи! – прошептал маркиз.

– О, безобразие! – простонал граф.

– О, чудовище! – проворчал его королевское высочество.

– Сколько вы за него возьмете? – спросил художник.

– За его нос! – воскликнула ее светлость.

– Тысячу фунтов, – сказал я, садясь.

– Тысячу фунтов! – повторил художник задумчиво.

– Тысячу фунтов! – подтвердил я.

– С ручательством? – спросил он, поворачивая нос к свету.

– Да, – отвечал я, высморкавшись.

– Это настоящий оригинал? – спросил художник, почтительно прикасаясь к моему носу.

– Хе! – отвечал я, скрутив нос набок.

– Не было ни одного снимка? – продолжал художник, рассматривая его в лупу.

– Ни одного, – отвечал я, задрав нос еще выше.

– Удивительно! – воскликнул он, пораженный изяществом этого маневра.

– Тысячу фунтов! – сказал я.

– Тысячу фунтов! – повторил он.

– Именно! – сказал я.

– Тысячу фунтов! – опять повторил он.

– Ни более, ни менее! – сказал я.

– Вы их получите! – сказал он. – Хороший экземпляр.

И тут же выдал мне чек и срисовал мой нос. Я нанял квартиру на Джермен-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом обонятельного органа. Повеса принц Уэльский пригласил меня на обед. Мы собрались – все львы, все recherches [1 - Изысканные(фр.).].

Был тут современный Платоник. Он цитировал Порфирия, Ямвлиха, Плотина, Прокла, Гиерокла, Максима Тирского и Сирийского.

Был тут сторонник идеи человеческого прогресса. Он цитировал Тюрго, Прайса, Пристлея, Кондорсе, Сталь и «Честолюбивого студента со слабым здоровьем».

Был тут сэр Положительный Парадокс. Он объявил, что все дураки были философами и все философы дураками.

Был тут Эстетикус Этике. Он говорил об огне, единстве и атомах; о двойственной и предсуществовавшей душе; о сродстве и разъединении; о первичном уме и гомеомерии.

Был тут Теологос Теолог. Он толковал о Евсевии и Арии; о ересях и Никейском соборе; о пюзеизме и субстанциализме; о гомузиос и гомойузиос.

Был тут Фрикасе из Rocher de Cancale. Он рассказывал о цветной капусте с соусом veloute; о телятине a la St. Menehoult; о маринаде a la St. Florentin; об апельсинном желе en mozai'ques.

Был тут Бибулюс О'Полштоф. Он распространялся о Латуре и Маркобруниен, о Мюссе и Шамбертене, о Ришбур и Сен Жорж, о Гобрионе, Лионвилле и Медоке; о Бараке и Преньяке; о Грав, о Сотерне, о Лафите, о С-т Перэ. Он покачивал головой, смакуя кло де-вужо, и отличал с закрытыми глазами херес от амонтильядо.

Был тут синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он рассуждал о Чимабуэ, Арпино, Карпаччио и Аргостино; о сумрачном тоне Караваджо, о грации Альбано, о

колорите Тициана, о женщинах Рубенса и о шалостях Яна Стина.

Был тут ректор местного университета. Он высказал мнение, будто луна называлась Бендис во Фракии, Бубастис в Египте, Дианой в Риме и Артемидой в Греции.

Был тут турецкий паша из Стамбула. Он не мог себе представить ангелов иначе, как в виде лошадей, петухов и быков, и полагал, что на шестом небе есть некто с семью тысячами голов; земля покоится на корове небесно-голубого цвета с бесчисленными рогами.

Был тут Дельфинус Полиглот. Он рассказал нам, какая судьба постигла восемьдесят три потерянные трагедии Эсхила; пятьдесят четыре речи Исея; триста девяносто один спич Лизия; сто восемьдесят трактатов Теофраста; восемь книг о конических сечениях Аполлония; гимны и дифирамбы Пиндара и сорок пять трагедий Гомера Младшего.

Был тут Фердинанд Фиц-Фоссилиус Полевой Шпат. Он сообщил нам об огненно-жидком ядре и третичной формации; газообразном, жидком и твердом; о кварце и мергеле; о шифере и шерле; о гипсе и трапе; об извести и тальке; о порфире и мелафире; о слюдяном сланце и пуддинговом камне; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и обо всем остальном.

Был тут я. Я говорил о себе, – о себе, о себе, о себе, – о носологии, о моем памфлете и о себе. Я задрал нос кверху и говорил о себе.

– Поразительно умный человек! – сказал принц.

– Удивительно! – подхватили гости.

А на другое утро ее светлость Ах-Боже-Мой явилась ко мне с визитом.

– Будете вы у Альмака, милое создание? – сказала она, ущипнув меня за подбородок.

– Честное слово, – сказал я.

– С носом? – спросила она.

– Непременно, – отвечал я.

– Так вот карточка, жизнь моя. Могу я сказать, что вы будете?

– Дорогая герцогиня – с радостью.

– Э, нет! Лучше с носом.

– И его захвачу, радость моя, – сказал я, повел им туда-сюда и очутился у Альмака.

Комнаты были битком набиты.

– Он идет! – крикнул кто-то на лестнице.

– Он идет! – крикнул другой.

– Он идет! – крикнул третий.

– Он пришел! – воскликнула графиня. – Он пришел, мой ненаглядный!

И схватив меня крепко обеими руками, она трижды чмокнула меня в нос.

Это вызвало сенсацию.

– Diavolo! [2 - Дьявол.] – воскликнул граф Каприкорнутти.

– Dios guarda! [3 - Храни боже!] – проворчал дон Стилетто.

– Mille tonnerres![4 - Гром и молния.] – крикнул принц де-Гренуйль.

– Tousand Teufel! [5 - Тысяча чертей.] – пробурчал электор Блудденнуфф.

Этого я не мог вынести. Я рассердился. Я обратился к Блудденнуффу:

– Милостивый государь! – сказал я. – Вы павиан!

– Милостивый государь! – возразил он после некоторого размышления – Dormer und Blitzen! [6 - Гром и молния.]

Больше ничего не требовалось. Мы обменялись карточками. На другое утро я отстрелил ему нос, а затем отправился к своим друзьям.

– Bete [7 - Скотина (фр.).]! – сказал первый.

– Дурак! – сказал второй.

– Олух! – сказал третий.

– Осел! – сказал четвертый.

– Простофиля! – сказал пятый.

– Болван! – сказал шестой.

– Убирайся! – сказал седьмой. Я огорчился и пошел к отцу.

– Отец, – сказал я, – какая цель моего существования?

– Сын мой, – отвечал он, – изучение носологии, как и раньше; но, попав электору в нос, ты промахнулся. Конечно, у тебя прекрасный нос, но у Блудденнуффа теперь совсем нет носа. Ты провалился, а он стал героем дня. Бесспорно, знаменитость льва пропорциональна длине его носа, но, Бог мой! возможно ли соперничать с львом совершенно безносым?

Тень

Вы, читатель, еще живы, а я, пишущий, давно уже удалился в царство теней.

Год этот был годом ужасов и годом, полным чувств, более сильных, чем чувство страха; для них нет названия на языке человеческом. Много совершилось чудес и предзнаменований, как на земле, так и на небе; черные крылья чумы раскрылись широко над землею. Астрономы говорили, что в звездном мире читают земное несчастие. Звездный мир имеет влияние не только на физическую жизнь земли, но и на души на ней живущих.

Раз ночью, в темном городе, по названию Птолемей, сидели мы всемером во дворце за несколькими бутылками красного киосского вина. В нашу комнату вела только одна высокая чугунная дверь. Дверь была вылита Кориносом, была образцом искусства и запиралась изнутри. Черные драпировки, повешенные в печальной комнате, закрывали от нас и луну, и зловещие звезды, и опустелые улицы; но мысли и воспоминание о заразе не могли быть так легко изгнаны. Вокруг нас и подле нас были вещи, отчет о которых я не могу отдать точно, – вещи, материальные и духовные, – какая-то тяжесть в воздухе, чувство задыхающегося человека, страх и, кроме того, ужасная жизнь нервных людей, когда чувствительность страшно раздражена, а умственные способности тупы и спят. Нас давила смертельная тяжесть. Она распространялась на наши члены, на мебель комнаты, на рюмки, из которых мы пили; и всё, казалось, было подавлено и охвачено унынием, всё, за исключением света семи ламп, освещавших наше пиршество. Свет тянулся длинными языками, бледными и неподвижными. А круглый стол из черного дерева, за которым мы сидели, лампы освещали так ярко, что он блестел, как зеркало, и мы все видели в нем отражение наших бледных лиц и беспокойный блеск наших мрачных глаз. И при всем том мы хохотали и веселились по-своему – истерически; и пели песни Анакреона, и много пили, хотя красный цвет вина напоминал нам кровь. В комнате было еще восьмое лицо – юный Зоил. Он лежал мертвый и вытянутый. Увы! он не разделял нашего пиршества, за исключением разве его лица, искаженного чумой, и глаз, в которых смерть не погасила еще огня чумы и которые принимали настолько участия в нашем веселье, насколько могут принимать участие покойники в веселье людей, которые должны умереть. И хотя я, Оинос, чувствовал, что взоры покойника устремлены на меня, но я старался не понимать горечи их выражения и, упорно смотрясь в поверхность стола, продолжал громко и звучно петь. Но постепенно песня моя смолкала, а эхо, уносясь к черным драпировкам, сделалось слабее, менее ясно и, наконец, замерло. И вот на этих драпировках, в которых замер звук песни, появилась тень, – мрачная, неопределенная, как тень, падающая при низкой луне от фигуры человека; но это была тень не человека, не бога, никого другого.

Трепещущая между драпировками, она остановилась – прямая и ясная – на поверхности чугунной двери. Тень не имела никакой формы; она стояла в чугунной громадной двери неподвижно и не говоря ни слова. Дверь находилась в ногах покойного Зоила. Мы, семь товарищей, увидав тень, выступившую из драпировок, не посмели поднять на нее глаз и сидели, опустив головы, и смотрели в зеркало стола. Наконец, я, Оинос, решился произнести несколько слов шепотом и спросил тень, где она живет и как ее зовут. Тень отвечала:

– Я – тень и живу около катакомб Птолемея, подле мрачных долин, окаймляющих нечистую Харонову реку!

И все мы семеро вскочили от ужаса, и стояли дрожащие, растерянные. Звук голоса тени – не был звуком одного голоса, он был звуком многих, и этот голос, достигая до нашего слуха, напомнил нам тысячи и тысячи исчезнувших друзей!

Необыкновенное приключение некого Ганса Пфааля

Мечтам безумным сердца

Я властелин отныне,

С горящим копьем и воздушным конем

Скитаюсь я в пустыне.

Песня Тома из Бедлама

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени, – я в этом не сомневаюсь, – будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый – совсем не по времени года, – без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто – даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук – не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул – затем снова переступня с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был… нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии – никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при

более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, – ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к terra firma [твёрдой земле – лат.]. С большим усилием подняв полотняный мешок, он

отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха.

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соблаговолят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, – который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около

пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка – словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспосабливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпеж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в

чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, – все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умаслить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проектец, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возвратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накупил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу

как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее, я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас особого металлического вещества, или полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал – или, по крайней мере, он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный – горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, – и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую – бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высовывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных

изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил, к делу.

Было первое апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но пуще всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами – к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, – лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку,

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предлогом и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр – 19R.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съежился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, – и наконец я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью я ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз тряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело – я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно накрениться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не

удалось бы даже то немногое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся маленький черный предмет – продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль, – он медленно шел в направлении вест-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соблаговолят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, – нет, мне стало только невтерпеж мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, – одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие – бесспорно трудное и опасное – все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии луны от земли. Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет всего 237 000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а земля расположена в фокусе последнего, – то, если бы мне удалось встретить луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус земли, то есть 4000, и радиус луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью шестьдесят миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10 600 футов – около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопакси, под нами остается половина, – по крайней мере, половина весомой массы воздуха, облекающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком и Био, поднявшимися на 25000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восемьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем ratio [порядке – лат.]. Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и во всяком случае считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом, сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше [8 - Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами»: Emicant Trabes quos docos vocant.. См.: Плиний, II, 26.]. В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и

образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.

Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости но мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться – хотя бы вследствие просачиванья газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, – не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния – то есть не отразится на быстроте моего взлета, – так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться – даже, собственно говоря, быть почти уверенным, – что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около

трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема [9 - После опубликования отчета Ганса Пфааля я узнал, что известный аэронавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, – вполне согласно с изложенной здесь теорией.]. Это обстоятельство наводило на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов – а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые – хотя далеко не все – соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки – с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить

как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус – то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему взору, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячешестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубку я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающий аппарат и промочив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груда раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака – иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом –

последствием могла быть – и была бы, по всей вероятности, – моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоразумное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, – как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все ж я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще о четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятами. Этого прибавления

пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более чем что-либо другое повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплавателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет – она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретавшая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Великобритания, все атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины Африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представать мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза – от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотою, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние – следовательно, ниже горизонта. Отсюда – впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к

диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного – серого крапчатого красавца – и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, – на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, – не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым фута на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах.

На первый взгляд это грозило опасностью – но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкасания с легкими и становиться не пригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпускании воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две – на три, потом замыкался, и так – несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч

оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность, или скорее за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, – да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132000 футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, – всей кучей, с невероятною быстротою, – и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, – они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут – скорее для того,

чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдали с грядами облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, – чего я вовсе не ожидал, – что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе – она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть земли на востоке покрылась густою тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые гибельные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек – верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это

обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было различить скопление каких-то темных пятен – без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестевшую линию, или полоску, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом, Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля. Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля. Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и несомненно увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения потому, что земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля. Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра седьмого апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилалось сплошное, или почти сплошное, поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.

8 апреля. Видимый диаметр земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени, а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизились в поле зрения еще теснее, и наблюдать землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор,

крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в 5ь8'48». Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля. Сегодня диаметр земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля. Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался; в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

11 апреля. Диаметр земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.

12 апреля. Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достойно замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля. Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.

14 апреля. Стремительное уменьшение диаметра земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид по направлению к перигелию – то есть, иными

словами, стремится прямо к луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.

15 апреля. На земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу землю и называются метеорами.

16 апреля. Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.

17 апреля. Сегодня – достопамятный день моего путешествия. Если припомните, тринадцатого апреля угловая величина земли достигала всего двадцати пяти градусов. Четырнадцатого она очень уменьшилась, пятнадцатого – еще значительнее, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в 7R15' Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром семнадцатого апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! – мелькнуло в моем уме. – Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже

пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги». Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была луна во всем ее великолепии.

Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот bouleversement [переворот – франц.] не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению луны, – или, точнее, тяготение шара к земле будет слабее его тяготения к луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.

Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек – словом, каких бы то ни было водных бассейнов – сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех – трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетавших с громом мимо шара.

18 апреля. Объем луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на луну, – несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г-на Шретера из Лилиенталя. Он наблюдал луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлиненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от земли, когда луна отстоит на 32ь от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча – в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восемьдесят втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска [10 - Гевелий пишет, что, наблюдая луну на той же высоте, в том же расстоянии от земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой луне. Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что, по крайней мере, иногда лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней.].

От степени сопротивления или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность луны. Судя по всему, я имел полное основание

опасаться подобного конца. Расстояние до луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.

19 апреля. Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал наконец очевидные признаки изменения плотности атмосферы.

К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился – после некоторого колебания – отвинтить вертлюг; и, убедившись, что ничего вредного для меня не воспоследовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротою, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему?.. Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от луны и стремился к ней со страшною быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочонки с водой, конденсирующий прибор, каучуковую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился самое большее в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на землю, так недавно – и, может быть, навсегда, – покинутую мною, и увидел ее в виде большого медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел

ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно, – я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.

Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, – без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемом людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате луны и о странных колебаниях температуры – невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, – о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, изпунктов, находящихся ближе к солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих вод; о здешнем населении – его обычаях, нравах, политических учреждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей – придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной связи между каждым обитателем луны и определенным обитателем земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное – главное, ваши превосходительства, – об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне луны, которая, вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это – и многое, многое еще – я охотно изложил бы в подобном сообщении. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения – принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, – я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма.

Податель его – один из жителей луны, которому я растолковал все, что нужно, – к услугам ваших превосходительств; он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.

Примите и проч. Ваших превосходительств покорнейший слуга,

Ганс Пфааль».

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, – об этом и толковать нечего. Так, по крайней мере, поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан, – а кто, кроме обитателя луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение.

Вот их доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имярек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имярек).

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые всюду были налеплены на шар, – это голландские газеты, и, стало быть, выходили не на луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море.

И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере, ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.

* * *

Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего с знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка, но, так как оба рассказа являются выдумкой (хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне), оба трактуют об одном и том же предмете, мало того – в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей, – то автор «Ганса Пфааля» считает необходимым заметить в целях самозащиты, что его «jeu d'esprit» [Игра ума – фр.] была напечатана в «Саутерн литерери мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем нелишним остановиться на этом рассказе, – то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии.

Расстояние луны от земли в круглых цифрах составляет 240 000 миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42 000 раз. Разделив на это число 240 000 (расстояние до Луны), получаем пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Локка сэр Джон Гершель видит на луне цветы (из семейства маковых и др.), даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее восемнадцати дюймов в диаметре. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской гг. Гартлей и Грант в Домбартоне; но гг. Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки.

На странице 13 отдельного издания, упоминая о «волосяной вуали» на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о «проницательности» доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие солнца они получают свет от земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография луны у мистера Локка, даже там, где он старается согласовать ее с картой луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница; автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на земле: восток приходится налево, и т. д.

Мистер Локк, быть может, сбитый с толку неясными названиями «Mare Nubium», «Mare Tranquillitatis», «Mare Fecunditatis» [Облачное Море, Море Спокойствия, Море Изобилия – лат.], которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на луне; между тем отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она,

очевидно, была бы ровною.

Описание крыльев человека – летучей мыши на стр. 21 – буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение.

На стр. 23 читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игралищем химических сил!» Это отлично сказано, конечно; но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как земля не в тринадцать, а в сорок девять раз больше луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты – и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на луне, – что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на земле? Без сомнения, не форма, не рост, не другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымышленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ (хотя бы и предвидел его заранее), наблюдатель вымышленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы!

Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека – летучей мыши (например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на луне есть какая-нибудь атмосфера) противоречат всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что все соображения, приписываемые Брюстеру и Гершелю в начале статьи – «передача искусственного света о помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения», и проч. и проч., – относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд – предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность несомненно справилась бы

в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастию, по мере возрастания увеличительной силы стекол, вследствие рассеяния лучей уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету – его собственному или отраженному. «Искусственный» свет, о котором толкует мистер Л., мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на «объект, находящийся в поле зрения», а на действительный изучаемый объект – то есть на луну. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную, безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения.

Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля – только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях – 5 и 1/2. в центре – 5 дюймов. Фокусное расстояние – 50 футов. Вес – 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится:

«L'Homme dans la lune, ou le Voyage Chimerique fait au Monde de la Lune, nouvellement decouvert par Dominique Gonzales, Advanturier Espagnol, autremet dit le Courier volant. Mis en notre langue par J.B.D.A. Paris, chez Francois Piot, pres la Fontaine de Saint Benoist. Et chez J. Goignard, au premier pilier de la grand' salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVIII», p. 176 [11 - Человек на луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII, 176 стр.].

Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера д'Ависсона (Дэвидсон?), хотя выражается крайне неопределенно.

«J'en ai eu, – говорит он, – l'original de Monsieur D'Avisson, medecin des mieux versez qui soient aujourd'huy dans la conoissance des Belles Lettres, et sur tout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m'auoir non seulment mis en main ce Livre en anglois, mais encore ie Manuscrit du Sieur Thomas

D'Anan, gentilhomrne Eccossois, recommandable pour sa vertu, sur la version duquel j'advoue j'ay tire le plan de la mienne» [12 - Оригинал я получил от господина Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования.]

После разнообразных приключений во вкусе Жиль Блаза, рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмутившийся экипаж оставляет его вдвоем с служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться Друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору пришло в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса, в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей (ganzas), к хвостам которых привязана машина.

Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на землю; но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает луны. Тут он находит среди прочих курьезов – население, которое вполне счастливо. Обитатели луны не знают законов; умирают без страданий; ростом они от десяти до тридцати футов; живут пять тысяч лет. У них есть император, по имени Ирдонозур; они могут подпрыгивать на высоту шестидесяти футов и, выйдя, таким образом, из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев.

Не могу не привести здесь образчик философствований автора:

«Теперь я расскажу вам, – говорит сеньор Гонзалес, – о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и землей.

Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше (приблизительно), чем когда смотришь на них с земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны земли, которая обращена к луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился между землей и луной. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии; во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все Же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов Равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он «все же двигался вокруг земного шара» и т. д.

Есть и другие «путешествия на луну», но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака не заслуживает внимания. В третьем томе «Америкен куотерли ревью» помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий», – разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к луне сильнее, чем к земле, делает из него ящик и улетает на луну. «Бегство Томаса О'Рука» – не лишенный остроумия jeu d'esprit; книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас, – лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа, – улетает на спине орла с Хангри Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри Бей.

Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель; тема – сравнение наших обычаев с обычаями жителей луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.

Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантукета,

в которой подробно описываются возмущение и жестокая резня на американском бриге «Грампус» в плавании к южным морям; вторичный захват корабля уцелевшими от резни; крушение и ужасные муки голода, постигшие экипаж; спасение его британской шхуной «Джэн Гай»; плавание этого судна в Антарктический океан; его плен и истребление экипажа на островах под 84® южной широты, а равно и невероятные приключения и открытия в дальнейшем плавании к югу, вызванные этим бедственным событием.

The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1837).

Перевод М. Энгельгардта (1896).

Предварительные замечания

Возвратившись в Соединенные Штаты несколько месяцев тому назад после ряда необычайных приключений в Южном океане, изложенных на нижеследующих страницах, я познакомился в Ричмонде с кружком джентльменов, которые крайне заинтересовались всем, что я видел в посещенных мною странах, и настойчиво убеждали меня познакомить публику с моим путешествием. Однако разные причины удерживали меня от этого – причины частью личного свойства, касающиеся меня одного, частью иного рода. Между прочим останавливало меня следующее соображение: я не вел журнала в течение большей части

путешествия и боялся, что не сумею составить по памяти отчет настолько подробный и связный, что он не только будет, но и покажется истинным, не считая, конечно, тех неизбежных и естественных преувеличений, от которых никто не убережется, излагая ряд событий, оказавших сильнейшее влияние на воображение рассказчика. Другое соображение было такого рода: мои приключения имеют до того чудесный характер, что, не подтвержденные свидетельскими показаниями (остался в живых только один свидетель, да и тот наполовину индеец), найдут доверие разве в моей семье и среди близких друзей, которым известна моя правдивость; публика же, по всей вероятности, сочтет мой рассказ только островной и бессовестной выдумкой. Но главной причиной, заставлявшей меня отклонять предложение приятелей, было недоверие к моим авторским способностям.

В числе джентльменов, заинтересовавшихся моим рассказом, в особенности той частью его, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, редактор «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом В. Уайтом в городе Ричмонде. Он настойчиво убеждал меня составить полный отчет обо всем мною виденном и испытанном, причем возлагал большие надежды на проницательность и здравый смысл публики, уверяя, что сами недостатки (в литературном отношении) моего рассказа придадут ему характер правдивости.

Несмотря на эти доводы, я все не мог решиться. Наконец видя, что со мной ничего не поделаешь, мистер По предложил следующую комбинацию: он сам составит отчет о первой части моих приключений на основании моего рассказа и напечатает его в «Южном вестнике» под видом вымысла. На это я не имел ничего возразить, оговорив только, чтобы мое настоящее имя было сохранено. Таким образом в январской и февральской книжках «Вестника» (1837) явились две главы этого якобы вымышленного рассказа, подписанного именем мистера По, чтобы усилить характер вымысла.

Прием, оказанный этой мистификации со стороны публики, побудил меня составить и напечатать подробное описание всех моих приключений. В самом деле, несмотря на сказочный характер, так искусно приданный первой части отчета, напечатанной в «Вестнике» (причем ни один факт не был искажен или изменен), публика отнюдь не оказалась склонной принимать его за сказку, и мистер По получил несколько писем, выражавших совершенно противоположное мнение. Отсюда я заключил, что факты, изложенные в рассказе, сами по себе представляются вероятными и что, следовательно, мне нечего бояться

недоверия публики.

В заключение этого expose [13 - Отчет (фр.).] замечу, что читатель сам увидит, где кончается труд мистера По и начинается мой рассказ. Прибавлю, что и в первых страницах, принадлежащих перу мистера По, нет ни одного вымышленного факта. Указывать же, где начинается мой рассказ, излишне: даже не читавшие «Вестника» увидят это по разнице в стиле.

А. Г. Пим.

Нью-Йорк, июль 1838 г.

ГЛАВА I

Мое имя Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морским товаром в Нантукете, где я родился. Мой дед по матери был стряпчий с хорошей практикой. Он успешно вел свои дела и счастливо спекулировал с акциями Эдгартонского нового банка. Эти и другие аферы доставили ему порядочный капиталец. Ко мне он был привязан, кажется, больше, чем к кому бы то ни было, так что я мог надеяться получить в наследство большую часть его состояния. Когда мне исполнилось шесть лет, он отправил меня в школу старика Рикхетса, однорукого джентльмена, большого чудака – его знают все, кому случалось бывать в Нью-Бедфорде. В его школе я оставался до шестнадцати лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда. Тут я подружился с сыном мистера Барнарда, капитана корабля, совершавшего рейсы по делам торгового дома Ллойда и Вреденбурга. Мистер Барнард также хорошо известен в Нью-Бедфорде; знаю, что у него есть родственники в Эдгартоне. Его сын Август был двумя годами старше меня. Он плавал с отцом на китобое «Джон Дональдсон» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него, иногда оставался на целый день и даже на ночь. Мы спали в одной постели, и я не смыкал глаз до рассвета, когда бывало он начнет рассказывать о дикарях острова Тиниана и других мест, где побывал во время плавания. В конце концов я только и думал что о его рассказах, мало-помалу меня обуяла страсть к мореплаванию. Я приобрел за семьдесят пять долларов парусную лодку, называвшуюся «Ариэль». Она была с палубой и каюткой, оснащена как одномачтовое судно, вместимость ее я не помню, но на

ней легко могло поместиться десять человек. В этой лодке мы предпринимали самые отчаянные вылазки, и, вспоминая о них, я только удивляюсь, каким чудом я остался жив.

Расскажу об одной такой вылазке в качестве предисловия к длинному и занимательному сообщению. Однажды вечером у мистера Барнарда собрались гости, и мы с Августом хватили по этому случаю лишнего. Как всегда в таких случаях я остался ночевать у него. Ложась спать (гости разошлись около часа ночи), он был, по-видимому, очень спокоен и ни единым словом не заикнулся о своей любимой теме. Прошло с полчаса, я уже стал забываться сном, как вдруг он вскочил и со страшным ругательством поклялся, что никакие Артуры Гордоны в мире не заставят его спать при таком чудесном юго-западном ветре. Я изумился как никогда в жизни, не понимая, о чем он толкует, и подумал, что он просто не помнит себя от вина и водки. Но он очень спокойно заметил, что напрасно я принимаю его за пьяного, что, напротив, никогда в жизни он не был трезвее. Ему только надоело валяться, как собаке, на постели в такую прекрасную ночь, и потому он намерен встать, одеться и покататься на лодке. Не понимаю, что со мной сделалось, но, услыхав эти слова, я так и вздрогнул от радости: его безумная выдумка показалась мне самой разумной и счастливой мыслью. Дул почти ураган, погода стояла холодная: дело было в конце октября. Тем не менее я вскочил с постели, как ужаленный, в каком-то экстазе, и объявил, что я не трусливее его, что мне тоже надоело валяться, как собаке, на постели, и что я также готов на какие угодно выходки и проделки, как любой Август Барнард в Нантукете.

Мы живо оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старой ветхой пристани, близ верфи «Панки и К®», стукаясь о тяжелые бревна. Август вскочил в нее и принялся вычерпывать воду, которая наполняла лодку почти до половины. Покончив с этим, мы подняли кливер и грот и смело пустились в море.

Как я уже упомянул, дул сильный ветер с юго-запада. Ночь была ясная и холодная. Август поместился у руля, а я на палубе подле мачты. Мы неслись стремглав и еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как оставили верфь. Наконец я спросил своего товарища, куда он думает направиться и когда мы вернемся. Он посвистал и ответил сварливым тоном:

– Я направлюсь в открытое море, а ты можешь, если угодно, вернуться домой.

Взглянув на него, я тотчас убедился, что, несмотря на кажущееся безразличие, он находился в сильнейшем возбуждении. Я ясно видел при свете луны, что лицо его белее мрамора и руки дрожат до того, что руль почти не слушается их. Я понял, что дело неладно, и не на шутку встревожился. В то время я еще плохо управлял лодкой и всецело зависел от искусства моего товарища. Ветер как назло усилился, а мы уже вышли почти в открытое море; но я все-таки не хотел выказать трусость и с полчаса еще хранил молчание. Наконец, однако, не выдержал и скачал Августу, что пора бы нам вернуться домой. Как и раньше, он не сразу ответил.

– Поспеем, – пробормотал он, наконец, – время есть… домой поспеем.

Я ожидал подобного ответа, но в тоне его слов было что-то особенное, отчего мороз пробежал у меня по телу. Я пристально посмотрел на Августа. Губы его посинели, колени дрожали так, что он вряд ли мог стоять.

– Ради Бога, Август, – воскликнул я, не на шутку перепуганный, – что с тобой? В чем дело? Что ты?

– Дело! – пробормотал он с изумлением, выпуская руль и падая на дно лодки. – Дело? Ничего – ладно – сам видишь… едем д… д… домой!

Тут мне разом все стало ясно. Я кинулся к нему, приподнял его. Он был пьян, пьян в стельку – не мог ни стоять, ни говорить, ни видеть. Глаза его были совсем стеклянные; и когда я в отчаянии выпустил его, он покатился, как чурбан в воду, на дно лодки. Очевидно, он выпил вечером гораздо больше, чем я думал, и его поведение в постели было результатом той степени опьянения, когда, как при некоторых формах помешательства, человек внешне вроде бы владеет собой и действует сознательно. Холодный ночной воздух произвел свое обычное действие – нервное возбуждение улеглось и смутное сознание опасности, без сомнения, ускорило катастрофу. Теперь он лежал без чувств и, по всей вероятности, должен был пролежать так несколько часов.

Вряд ли можно себе представить мой ужас. Винные пары окончательно улетучились, но тем сильнее было мое смятение и испуг. Я знал, что мне не справиться с лодкой и что бурный ветер и отлив, влекут нас к гибели. Надвигалась буря; у нас не было ни компаса, ни провизии, и если не изменить курс, мы должны будем к утру потерять из виду землю. Эти мысли и рой других,

Не менее страшных, с быстротой молнии проносились в моей голове и в первые минуты совершенно парализовали меня. Лодка бешено мчалась, рассекая волны с раздутыми парусами, зарываясь носом в пену. Решительно не понимаю, как она не перевернулась: Август, как я уже сказал, бросил руль, а я был в таком волнении, что не думал за него взяться. К счастью, лодка устояла, а я понемногу овладел собой. Ветер, однако, крепчал с каждой минутой; и всякий раз, как мы рассекали носом волну, она обрушивалась на корму и заливала нас целым потоком. Я до такой степени окоченел, что почти потерял способность чувствовать. Наконец во мне проснулась решимость отчаяния, и, бросившись к мачте, я отпустил парус. Как и следовало ожидать, он вылетел за борт и, намокнув в воде, сломал и утащил за собой мачту. Это обстоятельство спасло нас от неминуемой гибели. С одним кливером я лавировал кое-как против ветра, подвертываясь иногда под вал, но, по крайней мере, избавившись от страха немедленной смерти. Я взялся за руль и стал дышать свободнее, видя, что еще остается надежда на спасение. Август по-прежнему лежал на дне; видя, что ему угрожает опасность захлебнуться, так как вода стояла почти на целый фут, я кое-как приподнял его и, обвязав веревкой вокруг талии, прикрепил другой конец к рым-болту на палубе.

Сделав все необходимое, как умел и насколько позволяло мне мое волнение и окоченевшие руки, я поручил свою участь Богу и решился перенести все, что случится, с твердостью, на какую только был способен.

Внезапно громкий протяжный вопль, точно вырвавшийся из глоток тысячи демонов, наполнил пространство. В жизни не забуду смертельного ужаса, который охватил меня в эту минуту. Волосы мои встали дыбом, кровь застыла в жилах, сердце замерло, и, не успев оглянуться и определить причину этого шума, я повалился без чувств на тело моего товарища.

Очнувшись, я оказался в каюте большого китобойного судна «Пингвин», шедшего в Нантукет.

Несколько человек стояли надо мной; Август, бледный, как смерть, растирал мне руки. Увидев, что я открыл глаза, он разразился бурными восклицаниями восторга и благодарности, вызвавшими смех и слезы среди окружавших меня с виду грубых людей. Вскоре я узнал обстоятельства нашего спасения. На нас налетел корабль, шедший в Нантукет под всеми парусами, какие только можно было распустить при такой погоде. Матросы заметили нашу лодку, но слишком поздно; их-то крик и испугал меня так страшно. Огромный корабль прошел над

нами так же легко, как наша лодка прошла бы над перышком. Ни единого крика не раздалось с лодки; послышался только легкий скрип, сливавшийся с ревом ветра и волн, когда наше легкое суденышко нырнуло в воду и прошло под килем своего губителя, больше ничего. Думая, что наша лодка (на которой не видно было мачты) случайно оторвалась от пристани, капитан (Е. Т. Блок из Нью-Лондона) хотел продолжать путь, не придав значения этому случаю. К счастью, двое матросов божились, что заметили в лодке человека, и доказывали, что его еще можно спасти. Возникли препирательства. Блок рассердился и заметил, что «ему нет дела до яичной скорлупы, что корабль он не будет останавливать ради всякого вздора, что коли человек тонет, так, значит, он сам того хотел; и, черт его дери, пусть себе тонет». Но тут вмешался его помощник Гендерсон, справедливо возмутившийся, как и весь экипаж, таким бессердечием. Чувствуя за собой поддержку, он решительно объявил капитану, что тот заслуживает виселицы и что он не послушается, хотя бы его повесили на берегу. Высказав это, он прошел на корму, толкнув Блока (который побледнел и молча отвернулся), и, схватив руль, скомандовал твердым голосом: «Становись под ветер!» Люди бросились по местам, и корабль круто повернул. Все это длилось минут пять, так что почти не оставалось надежды на спасение людей, бывших в лодке, если предположить, что в ней были люди. Тем не менее, как уже известно читателю, и я, и Август были спасены благодаря двум счастливым случайностям, почти непостижимым, какие приписываются благочестивыми и мудрыми людьми вмешательству Провидения. Пока корабль поворачивался, Гендерсон велел спустить лодку и соскочил в нее с двумя матросами, видевшими в лодке людей. Лишь только они отчалили от корабля с подветренной стороны, корабль сильно накренился к ветру, и Гендерсон, вскочив, крикнул своим матросам: «Греби назад!» Он ничего не прибавил к этому и только кричал: «Греби назад! Греби назад!» Матросы изо всех сил налегли на весла, но в это время корабль повернулся и быстро двинулся вперед, хотя экипаж торопился убрать паруса. Помощник, несмотря на всю опасность этой попытки, ухватился за ванпутенсы на борту судна. Корабль снова качнуло так, что правая сторона обнаружилась почти до киля, – тут выяснилась причина криков Гендерсона. На гладком и блестящем дне корабля (он был обшит медью) виднелась человеческая фигура, повисшая самым странным образом и бившаяся о корпус корабля при каждом его движении. После нескольких неудачных попыток в те минуты, когда корабль накренялся, и с риском потопить лодку, я был освобожден из своего опасного положения и поднят на корабль. Оказалось, что гвоздь, выдававшийся из корпуса корабля, зацепил меня в то время, когда мое тело проходило под килем. Шляпка гвоздя прорвала воротник моей зеленой байковой куртки и зацепила меня за шею, пройдя между двумя сухожилиями, как раз под правым ухом. Меня тотчас уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. На

корабле не было медика. Капитан, однако, отнесся ко мне очень внимательно, вероятно, желая загладить в глазах экипажа свое жестокое поведение.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Изысканные(фр.).

2

Дьявол.

3

Храни боже!

4

Гром и молния.

5

Тысяча чертей.

6

Гром и молния.

7

Скотина (фр.).

8

Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами»: Emicant Trabes quos docos vocant.. См.: Плиний, II, 26.

9

После опубликования отчета Ганса Пфааля я узнал, что известный аэронавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение

Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, – вполне согласно с изложенной здесь теорией.

10

Гевелий пишет, что, наблюдая луну на той же высоте, в том же расстоянии от земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой луне. Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что, по крайней мере, иногда лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней.

11

Человек на луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII, 176 стр.

12

Оригинал я получил от господина Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, за

свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования.

13

Отчет (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/edgar-po/rasskazy-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити